

Литература

К 160-летию литературной жизни русского поэта, драматурга, прозаика Алексея Константиновича Толстого

Предлагаем читателям публикацию литературно-краеведческих очерков о писателях-классиках, посетивших Оренбургский край.



А.К. Толстой. Рисунок К. Горбунова

С 1853 года в российских столичных журналах начали появляться стихи, подписанные именем "Граф Толстой". Вот и в 1856 году читатели "Отечественных записок" увидели в пятом номере стихотворение с начальной строкой "Средь шумного бала, случайно...", обратившее на себя всеобщее внимание. Незадолго до этого публицист А.И. Кошелев писал историку А.Н. Попову: «Мы все в восторге от стихов графа Толстого... Как его зовут? Кто он такой? Стихи его, помещенные в "Современнике", просто чудо. Хомяков, Аксаков (Константин, старший сын С.Т. Аксакова. – Прим. авт.) их все наизусть знают. Хомяков... говорит: "После Пушкина мы таких стихов не читали..."».

На далекой окраине империи у читающих обитателей Оренбурга, отделенных от столицы "дорогами, превосходящими все самое чудовищное, что может создать самое горячее воображение", были свои основания заинтересоваться публикациями. В 1842 году они впервые увидели это имя под очерком "Два дня в киргизской степи", со страниц которого пахнуло кизячным дымком степных просторов, экзотикой Востока – неведомой для остальной России жизнью, открытой недавно Владимиром Далем. За год до того военный губернатор В.А. Перовский, завершая свое первое правление краем, пригласил к себе на кочевку – летнюю резиденцию на речке Белгуш (ныне Саракташский район. – Прим. авт.) – своего племянника по родной сестре Анне Алексеевне, тогда двадцатитрехлетнего чиновника собственной Его Императорского Величества канцелярии Алексея Толстого, "любезного Хашку, милого Ханчика", как звал воспитанника другой дядя, Алексей Перовский.

Приехавший из Оренбурга в июне 1841 года гость написал своему сослуживцу по канцелярии (приведенные выше проклятия дорогам – из этого письма): "Моего дядю (В.А. Перовского. – Прим. авт.) я нашел в состоянии худшем, чем ожидал. Так как опухоль не вскрывалась, то он очень мучается,

и врач, доктор Эверсман, которого он выписал из Казани, сказал мне, что операции не избежать. Я сделаю решительно все, чтобы пробыть здесь лишь несколько дней и уехать не теряя времени, но так как я уже предвижу, что не могу не запоздать, то умоляю Вас, дорогой друг, извинить меня перед моими начальниками, если мое отсутствие будет замечено".

Вывод о служебном рвении автора письма, как будто очевидный, мягко говоря, не соответствовал действительности. Вот другие, исповедальные строки того же автора: "Не хочется мне теперь о себе говорить, а когда-нибудь я тебе расскажу, как мало я рожден для служебной жизни и как мало я могу принести ей пользы... Вообще вся наша администрация и общий строй – явный неприятель всему, что есть художество, начиная с поэзии и до устройства улиц... Так знай же, что я не чиновник, а художник".

Нет, он не спешил покидать гостеприимной кочевки, превращенной прихотливым Перовским в степной вариант рая. Об этом говорит уже начало очерка: "Уже около месяца жили мы на кочевке, верстах в полтора от Оренбурга. Кочевка расположена между высокими холмами, составляющими начало Уральского хребта и покрытыми дубняком и березняком... Почти все они имеют ту же оригинальную форму, почти все увенчаны стенообразным гребнем сланцевого камня, и в каждой долине протекает небольшой ручей, с обеих сторон скрытый кустарником. Долины эти изобилуют разными ягодами, а более всего особенным родом диких вишен, растущих в высоком ковыле едва приметными кустами. Имя, кажется, должно приписать неимоверное множество тереверей, водящихся в этих местах..."

Уже на закате дней, признаваясь в юношеской эстетической "тоске по родине – по Италии", поэт говорит и о другой страсти – к охоте: "С двадцатого года моей жизни она стала во мне так сильна и я предавался ей с таким жаром, что отдавал ей все время, которым мог располагать. В ту пору я со-

стоял при дворе императора Николая (в 1843 году А.К. Толстой получил придворное звание камер-юнкера. – Прим. авт.) и вел весьма светскую жизнь... тем не менее часто убежал от нее и целые недели проводил в лесу, часто с товарищами, но обычно один". Да, богатыря Толстого, который завязывал узлом серебряные ложки, винтом скручивал кочергу, один ходил на медведя, не могла устроить такая охота: "В течение часа мы однажды втроем убили шестьдесят три штуки... Теревина стрельба наша напоминала мне кровопролитные охоты в немецких парках – охоты, которых, откровенно сказать, я терпеть не могу".

Понятен поэтому поворот очерка: "Легко себе можно представить, как я обрадовался, когда пришло на кочевку известие, что за Уралом, в Киргизской степи, показались сайгаки. Я вспомнил об описаниях этого животного в натуральных историях, где о нем всегда говорится как об одной из быстрейших и недоступнейших антилоп. Некоторые из охотников, бывшие в хивинской экспедиции (военном походе В.А. Перовского в 1839 году – Прим. авт.), рассказывали нам, как на возвратном пути, весной, им случалось встретить сайгаков и как они тщетно старались догнать их наилучшими скакунами... Я горел нетерпением увидеть сайгака, почти не смея надеяться на удачу охоты".

дежде, что успеет как-нибудь к ним подъехать: но едва сайгаки увидели эти приготовления, как пустились бежать, несмотря, что нас разделяло несколько верст..."

Охотники разбили стан у подножия высокого, протяженного утеса Конташ. В полуденную жару поэт наблюдал, как сайгаки "бежали к ручью огромными стадами. Чем более я всматривался вдаль, тем более открывал их на горизонте: они тянулись отовсюду. Вся степь, исключая какого-нибудь десятиверстного пространства вокруг нас, была ими покрыта. Я думаю, тут было несколько тысяч".

Это была уже другая охота. Несмотря на скорость бега и чуткость животных, в первый день сорок охотников убили более пятидесяти сайгаков, на второй день – более ста, и нескольких – сам рассказчик. "Обед наш состоял большей частью из сайгачины". После обеда башкиры соревновались в стрельбе из лука, борьбе и "пробовании силы". Здесь Толстой несколько раз выходил победителем, получив от башкир "имя джигита".

Лирическое окончание очерка близко к поэзии в прозе: "Когда настала ночь, мы все вместе отправились верхами в Сухореченскую крепость. Казаки затянули песню, и голоса их терялись в необъятном пространстве, не повторяемые ни одним отголоском..."

«Служа таинственной Отчизне...»

Мир в глазах рассказчика словно только что сотворен, и он, художник, видит и передает его со всей свежестью первооткрывателя – это под силу только лирическому поэту: "От кочевки до Сухореченской крепости, где нам надлежало ночевать и потом переехать через Урал, было верст двести. Езда в Оренбургской губернии необыкновенно быстра, степные дороги гладки, как паркет, а башкирские лошади неутомимы. Часов в четырнадцать мы в двух тарантасах проскакали двухсотверстное пространство и еще нашли время выкупаться в Сакмаре и пообедать в одной из линейных станций. Места, через которые мы проезжали, были очень разнообразны и живописны: сначала такие же холмы, как и на кочевке, потом широкие долины. Сакмара, отсвечивающая сквозь лес серебристых тополей, цветущая степь, а вдали – голубые Губерлинские горы... Часов в девять вечера мы приехали в Сухореченскую крепость и остановились у станичного атамана. Перед его домом казаки забавлялись стрельбанием в цель... Настрелявшись с ними вдоволь и выкупавшись в Урале, мы легли на дворе на свежем сене и заснули под говор атамана, рассказывающего нам, как его взяли в плен киргизы и как он от них убежал."

Солнце едва начинало всходить, а тарантас наш уже ехал по берегу Урала, окруженный конвоем башкирцев. Переезд через реку был как нельзя более живописен. Крутые берега утеса, тарантас, до половины колес погруженный в воду, прыгающие лошади, башкирцы, вооруженные луками, наши ружья и сверкающие кинжалы – все это, освещенное восходящим солнцем, составляло прекрасную и оригинальную картину. Урал в этом месте не широк, но так быстр, что нас едва не унесло течением.

На другой стороне степь приняла совершенно иной вид. Дорога скоро исчезла, и мы ехали целиком по крепкой глинистой почве, едва покрытой сожженной солнцем травой. Степь рисовалась перед нами во всем своем необъятном величии, подобная слегка взволнованному морю. Вдруг один башкирец остановил коня и протянул руку. Последовав глазами направлению его пальца, я увидел несколько светло-желтых точек, движущихся на горизонте: то были сайгаки. Один из нас сел на башкирскую лошадь, в на-

Песни эти отзывались то глубоким унынием, то отчаянной удалью и время от времени были приправляемы такими энергетическими словами, каких нельзя и повторить. Поезд этот запечатлелся в моей памяти со всеми его подробностями. Как теперь вижу я небо, усеянное звездами, и степь, похожую на открытое море; как теперь слышу слова:

*Дай нам Бог, казаченькам,
пожить да послужить,
На своей сторонке головки
положить..."*

Ни это путешествие, ни проба пера не были первыми для Толстого. Он родился в Санкт-Петербурге 24.08 (5.09) 1817 года. После рождения сына мать разошлась с мужем, графом К.П. Толстым. Алешу воспитывал ее брат Алексей Перовский, писатель, публиковавшийся под псевдонимом Антоний Погорельский, автор известной детской сказки "Черная курица, или Подземные жители". Малороссию (Украину), где поэт провел счастливые детские годы, он считал "своей настоящей родиной". Подростком он был представлен будущему императору Александру II, своему ровеснику, и был допущен в круг его детских общений. В десятилетнем возрасте мать с дядей взяли его в Германию, где в Веймаре очень юный поэт ("с шестилетнего возраста я начал мараить бумагу и писать стихи") сидел на коленях у Гете, переводом из которого отозвался через сорок лет. Тринадцатилетним он в том же окружении путешествовал по Италии. Это были два феерических месяца! Живое знакомство с греческой и римской историей, древностями искусства – на открытом воздухе и в музеях – посещения всемирно известных галерей живописи и мастерских художников, общение с друзьями Пушкина, Соболевским, Шевыревым, Карлом Брюлловым... Весной 1831 года он как бы прошел университетский курс и в дневнике, неожиданно зрелом, показал, что умеет смотреть, чувствовать и мыслить.

Он уже тогда знал, что "нет другой такой вещи, для которой стоило бы жить, кроме искусства".

(Продолжение следует)

Валерий КУЗНЕЦОВ,
поэт, член
Союза писателей России